

Лев Николаевич

Толстой

Отец Сергей

(1890–1898 гг.)

Государственное издательство

художественной литературы

Москва – 1954

Электронное издание осуществлено

компаниями ABBYY и WEXLER

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы проекта:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей–усадьба «Ясная Поляна»

Компания ABBYY

Подготовлено на основе электронной копии 31–го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 31-му тому

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать

в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией ABBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы ABBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

«ТОЛСТОЙ ВЕРХОМ»

Скульптура П. Трубецкого

ОТЕЦ СЕРГИЙ

I

В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского всё это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в

Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл всё дело и не выгнал эконома.

Восемнадцать лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, — а он часто ездил к ним, — когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

— Знайте, что всё мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре половину состояния. То, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он

служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, повидимому, самая разнообразная, но в сущности всё одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и, как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться и, для того, чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым. Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света – и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы, но всё обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, – и он дожидался этого, – или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сблизиться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для

одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг всё изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение, и был принят. Он был удивлен легкости, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью, осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям 40-х годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренне не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распушенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку, – такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недостижимое.

Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

– Я только теперь узнал всё то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, – сказал он, робко улыбаясь, – дала мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу.

– Я себя узнал благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

– Я давно это знаю. Я за то–то и полюбила вас.

Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

– Вы знаете, ты знаешь, ну, всё равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердись на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.

Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».

– Да, ты вот сказала... – он замялся, ему показалось это слишком дерзко, – ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что–то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда, – подумала она. – Всё равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!»

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

– Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать всё. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

– Вы хотите знать, кого? Да, его, государя.

– Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

– Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать...

– Ну, так что же?

– Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

– Как? Вы отдались ему?

Она молчала.

– Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и бледный как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

– Боже мой, что я сделала, Стива!

– Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

– Вы что, князь? Я... – Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

– Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщины, – вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал.

Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает всё то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? – к богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский, так же как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, всё это уничтожалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь всё это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища – молитва церковная – для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и, действительно, служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во всё большем и большем покорении своей воли, во всё большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он всё отдал в монастырь и не жалел его, лености у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покающуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг всё то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и – ужасно сказать – раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание – работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что он не в своей и не в божьей власти, а в чьей-то чужой. И всё, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за всё это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это всё более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Всё то, чему надо было учиться, всё то, чего надо было достигнуть, – он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось всё сильнее и сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Всё внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучал Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением

барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергей отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергей, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергей стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов – часто его даже и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, – Никодим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести к игумну, – подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергей обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

– Lise, regardez à droite, c'est lui, [1] – послышался ему женский голос.

– Où, où? Il n'est pas tellement beau [2].

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова: «И не введи нас во искушение» и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом, и, растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергей своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергей тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услышал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидеть своего прежнего сослуживца, как он выразился.

– Очень рад видеть вас в ангельском образе, – сказал генерал, протягивая руку, – надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Всё лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард – всё это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

– Ваше преподобие изволили звать меня? – И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

– Да, повидаться с генералом.

– Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов, – сказал он, бледнея и с трясущимися губами. – За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме божием.

– Иди, иди, – вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергей просил прощенья у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей, не ради бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для бога, а меня показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергей, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: живи попрежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое

письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя бог».

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергий стал затворником.

IV

На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая – помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

– Да куда ведет эта дорога? – спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

– В Т[амбино], отсюда двенадцать верст, – сказал адвокат, ухаживавший за Маковиной.

– Ну, а потом?

– А потом на Л. через монастырь.

– Там, где отец Сергий этот живет?

– Да.

– Касатский? Этот красавец пустынный?

- Да.
- Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Т[амбине] отдохнем, закусим.
- Но мы не успеем ночевать домой.
- Ничего, ночуем у Касатского.
- Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.
- Нет, я у Касатского буду ночевать.
- Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.
- Невозможно? Пари.
- Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.
- A discrétion. [3]
- А вы тоже!
- Ну, да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, – и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, ровная, масляная дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевелевал вожжами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то вразили с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Всё одно и то же, и всё гадкое: красные, глянцеволицые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и всё вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы всё это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да наверно подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я по крайней мере хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был».

- Иван Николаич! – сказала она.
- Что прикажете?

- Да ему сколько лет?
- Кому?
- Да Касатскому.
- Кажется, лет за сорок.
- И что же, он принимает всех?
- Всех, но не всегда.
- Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, еще, вот так. А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

V

Отец Сергей жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

«Боже мой! боже мой! – думал он. – За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть. – Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя. – Гадина! Гадина! Хочешь быть святым», – начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться.

«Неужели одр сей мне гроб будет?» – читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. Ложь». И он увидел в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть: «Верую, господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливает предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня», и ему не только легко, но радостно умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою постилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было, или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! – он плюнул. – Нет, мне кажется», – сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосухе. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтоб слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадуюшку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос – тот же нежный, робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

– Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

– Да я не дьявол... – и слышно было, что улыбались уста, говорившие это. – Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась – не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), измерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с мылом, мылом, добрым испуганным лицом, тут, в двух верхках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они

обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

– Кто вы? Зачем вы? – сказал он.

– Да отоприте же, – с капризным самовластьем сказала она. – Я замерзла. Говорю вам, заблудилась.

– Да ведь я монах, отшельник.

– Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

– Да как вы...

– Не съем же я вас. Ради бога, пустите. Я озябла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне», – проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» – вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекающую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

– Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

– Ах, извините! – сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услышав это «извините». «Ну, он не так еще страшен», – подумала она.

– Ничего, ничего. Вы простите меня, – сказала она, проходя мимо его.
– Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

– Пожалуйста, – проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешного, господи, помилуй мя грешного», – не переставая молился он не только внутренне, но и невольно наружно шевеля губами.

– Пожалуйста, – сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

– Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью... – начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Выщипанные с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

– Да, так, – сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. – Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», – подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волосы, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у двери она точно попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботинки полны воды. Она села на его койку – доску, только покрытую ковриком, – и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, потом и землей. Всё нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его – этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда», – сказала она себе.

– Отец Сергей! Отец Сергей! Так ведь вас звать?

– Что вам надо? – отвечал тихий голос.

– Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

– Простите меня, – отвечал тихий голос, – я ничем не могу служить.

– Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то, – очевидно, молится.

– Вы не взойдете сюда? – спросила она улыбаясь. – А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

«Да, это человек», – думала она, с трудом стаскивая шлепающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и – как он ни бормочи молитвы – и страстное лицо! – думала она. – Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал», – говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила:

– Не входите.

Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю, – думала она. – Но не откланяется он, – проговорила она. – Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», – говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы...»

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор! Не хочу я. Сейчас позову его».

– Отец Сергей! Отец Сергей! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!

За дверь было тихо.

– Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мною, – заговорила она страдающим голосом. – Ох, ох! – застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что всё болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

– Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! – Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. – Ох! ох!

Всё это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».

Но он всё слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергей слышал, чуял, что опасность, гибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала:

– Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг – он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».

– Ради бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

«Так что же, я погибну? Так нет же».

– Сейчас я приду к вам, – проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

– Сейчас, – сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нему ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол.

Он услышал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:

– Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на

себя, закуталась в нее.

– Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергей... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

– Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услышала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

– Что вы сделали с рукой? – Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидела на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

– Простите меня, – сказала она. – Чем выкуплю я грех свой?

– Уйди.

– Дайте я перевяжу вам рану.

– Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела ожидая. С надворья слышались бубенцы.

– Отец Сергей. Простите меня.

– Уйди. Бог простит.

– Отец Сергей. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.

– Уйди.

– Простите и благословите меня.

– Во имя отца и сына и святого духа, – слышалось из-за перегородки. – Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.

– Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?

– Всё равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

VI

В затворе прожил отец Сергей еще семь лет. Сначала отец Сергей принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Всё то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Всё время свое отец Сергей проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых всё становилось больше и больше. Выходил отец Сергей только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергея стала увеличиваться. Посетителей стало приходить всё больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергея, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла всё дальше и дальше. Стали стекаться к нему издали и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну? – просила ради Христа. На утверждение отца Сергея, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергей отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные) он, выйдя из кельи за водой, увидел опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услышал те же мольбы. Отец Сергей вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказаться, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергей, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное богом.

И, выйдя к матери, отец Сергей исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергей имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергей уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергей чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали всё, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, – место, где он мог благословлять проходящих.

Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал всё больше и больше для людей, а не для бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он

чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для бога и насколько для людей?» – вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже всё обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергей. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем всё больше и больше приходило к нему людей и всё меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда «она» (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли всё, осталась одна грязь». Так думал он в редкие светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовения. Отец Сергей служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это всё были господа и купцы – богатые. Отец Сергей пускал всех, но эту выборку делали монахи, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергея и его благословения. Отец Сергей служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

– Что с вами? Батюшка! Отец Сергей! Голубчик! Господи! – заговорили голоса женщин. – Как платок стали.

Но отец Сергей тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

– Ничего, ничего, – улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергей, – не прерывайте службу.

«Да, так святые делают», – подумал он.

– Святой! Ангел божий! – слышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергей дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергей благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странники, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергей знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Всё это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергей устал, но он, вспомнив при том слова евангелия: «Не мешайте им (детям) приходиться ко мне» и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

– Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, – сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

– Отец! – слышалось в толпе. – Отец! Батюшка! Не покинь ты нас.

Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязом, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

– Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка, черные онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра бог даст, а нынче весь отошел.

– Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, – говорила старушка.

– Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

– Хорошо, хорошо. Я не гоню, я усовещиваю, – отвечал купец, – ведь они ради dokonать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра. И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике – не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию – немножко полегчило; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег – ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

– Отец святой, благослови дочь мою болящую исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим. – И он сложил горсточкой руку на руку. Всё это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такою уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что всё это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привести ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

– Что же, она очень слаба? – сказал отец Сергей.

– Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергей привести ее, я бы духом слетал. Отец святой, оживите сердце родителя, восстановите род его – молитвами своими спасите болящую дочь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергей опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

– Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал. – И он закрыл глаза. – Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергей остался один.

Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упросила отца Сергия поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергей видел, что молодой человек не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергей с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

– Покушать, батюшка, – сказал келейник.

– Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергей остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергей жил один и сам всё делал для себя, и питался одной просвирой и хлебом.

Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так, как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что раз лопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и

другие два или три внизу в кустах у реки, шелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светлозеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали и хлопались и падали.

После ужина отец Сергей стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас», а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают» – думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться богу. «Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня», – повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. Ему приятна, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть, или нет.

«Неужели я так пал? – подумал он. – Господи, помоги мне, восстанови меня, господь и бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот – соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал громко молиться, и долго молился, до тех пор пока мысли эти исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергей остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувствительна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он вошел, она встала.

– Я к папаше хочу, – сказала она.

– Не бойся, сказал он. – Что у тебя болит?

– Всё у меня болит, – сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.

– Ты будешь здорова, – сказал он. – Молись.

– Что молиться, я молилась, ничего не помогает. – И она всё улыбалась. – Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.

– Как видела?

– Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. – Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. – Вот сюда.

Он отдал ей свою правую руку.

– Как тебя звать? – спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства.

– Марья. А что?

Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.

– Что ты? – сказал он. – Марья. Ты дьявол.

– Ну, авось ничего.

И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.

«Неужели всё это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец». Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

– Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Всё было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька, с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают насмех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергей, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим всё ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же – не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? – спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. – Где она? Что с ней? Так ли она всё несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидел ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, – это было за триста верст, – и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять – слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между

людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а всё будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопанных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.

– Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула.

– И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказанье, – сказала она себе, – вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был всё тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не выдав его почти тридцать лет.

– Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

– Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

– Да не может быть! Степа! Сергей! Отец Сергей.

– Да, он самый, – тихо проговорил Сергей. – Только не Сергей, не отец Сергей, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

– Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдите же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.

Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

– Сядьте сюда, сейчас, – сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно уж привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

– Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.

– Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шопотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана опростав его для Сергия.

Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.

– Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.

– Куда?

– Уроки у меня тут, совестно и говорить – музыке учу.

– Музыке – это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?

– За счастье почту. Вечером можно?

– Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.

– Ах, а я сказала дочери.

– Ну, попросите ее не говорить.

Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

– Что же ты раньше пришла обещанного? – сказал Сергий. – Теперь

можно поговорить?

– И за что мне такое счастье, что такой посетитель? Я уж пропустила урок. После... Я мечтала всё съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.

– Пашенька! Пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед богом. Пашенька! Я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

– Стива, может быть, ты преувеличиваешь?

– Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.

– Боже мой! Что ж это? – проговорила Прасковья Михайловна.

– Но надо жить. И я, который думал, что всё знаю, который учил других, как жить, – я ничего не знаю, и я тебя прошу научить.

– Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?

– Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?

– Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь за бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

– Как же ты вышла замуж? Как жила с мужем?

– Всё было дурно. Вышла – влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучала его ревностью, которую не могла в себе победить.

– Он пил, я слышал.

– Да, но я–то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

– Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

– Да ведь у вас было именье.

– Это еще при Васе мы продали и всё... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела – как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей – сама немножко подучилась. А тут Митя заболел, уже в четвертом классе, и бог взял его. Манечка полюбила Ваню – зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

– Мамаша, – перебила ее речь дочь. – Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

– Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее – и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

– Чем же он болен?

– Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо бы ехать, но средств нет. Но я всё надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...

– Лукерья! – послышался его голос, сердитый и слабый. – Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша...

– Сейчас, – опять перебила себя Прасковья Михайловна. – Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

– Так вот и живу. И всё жалуемся, и всё недовольны, а, слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

– Ну, чем же вы живете?

– А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и, как упражнения, перебирала худыми пальцами.

– Чтò же вам платят за уроки?

– Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

– И что же, успехи делают? – чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

– Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиним связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

– Да, да, – говорил Касатский, наклоняя голову. – Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? – спросил он.

– Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила, с детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

– А отчего же не бываете сами?

– Да правду сказать, – она покраснела, – да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.

– Ну, а дома молитесь?

– Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

– Да, да, так, так, – как бы одобряя, подговаривал Касатский.

– Сейчас, сейчас, – ответила она на зов зятя и, поправив на голове косичку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

– Я им не сказала, кто вы, – начала она робко, – а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

– Нет...

– Ну, я сюда принесу.

– Нет, ничего не надо. Спаси тебя бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому. Спасибо тебе. Я бы, поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

– Благословите.

– Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял всё и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет, только по тому, что Протопопова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дорожке облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить богу?» – спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но всё это было загажено, заросло славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником–французом.

Они остановили их, чтобы показать ему les pèlerins, [4] которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по–французски, думая, что не понимают их.

– Demandez leur, – сказал француз, – s'ils sont bien sûrs de ce que leur pèlerinage est agréable à Dieu. [5]

Их спросили. Старушки отвечали:

– Как бог примет. Ногами–то были, сердцем будем ли?

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касатского, кто он?

– Раб божий.

– Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.[6]

– Il dit qu'il est un serviteur de Dieu.[7]

– Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie?[8]

У француза нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать копеек.

– Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé;[9] чай, чай, – улыбаясь, – pour vous, mon vieux,[10] – сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

– Спаси Христос, – ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое – взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у о него нет, а что он раб божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

Последняя страница первой законченной редакции повести «Отец Сергей»

Размер подлинника

ПЛАНЫ И ВАРИАНТЫ

ОТЕЦ СЕРГИЙ

№ 1 (рук. № 1).

Ну вот вам история. Надо поскорее рассказать, а то забуду: Служил в сороковых годах в гвардейском кавалерийском полку воспитанник Пажеского корпуса князь Касатский–Ростовцев. Он был красив, молод, не беден, и любим товарищами и начальством. Жизнь он вел не распутную, как все, а всё собирался жениться. И выбрал он девушку, но накануне сватъбы он узнал, что девушка эта обманывала его, а была любовницей важного лица, и ее выдавали за него замуж, чтобы прикрыть грех. Он отказался. Девушка заболела и через год умерла в чахотке. Она любила его. Он был при ее смерти. Она каялась ему и просила его прощения. А он чувствовал себя виноватым перед ней. Когда она умерла, он стал думать иначе о жизни и смерти. Он еще смолоду, 18 лет, был очень набожен и хотел идти в монахи. Тогда его уговорили родные делать, как все, служить, и он поступил в полк. Теперь он вернулся к тем мыслям и чувствам, которые были в нем тогда, но теперь уже он не сомневался в том, что он был прав, когда хотел думать не о теле и мирской жизни, а о душе и о боге, и решил выйти в отставку и посвятить свою жизнь служению богу. Он так и сделал. Отца у него не было. Мать сама была набожна и, хотя отговаривала сына, боясь того, чтобы он не раскаялся в своем намерении, в душе одобряла его. Касатский–Ростовцев вышел в отставку, отрекся от мира и поступил в монастырь, известный строгостью жизни братии. Ему тогда только минуло 30 лет. Первое время ему очень трудно было в монастыре. <Главная борьба его была с плотью, похотью женскою и с гордостью.> Плотской похоти он боялся больше всего и постоянно вооружался против нее. Оружием против нее было у него 1–е то, чтобы, думая о женщинах, думать прежде всего об умирающей, обманутой своей невесте, так, чтобы ее образ, вызывавший в нем одну жалость, закрывал от него все другие женские образы; и 2–е то, чтобы никогда не видеть женщин. [11]

<Другая борьба его была с гордостью. Он не гордился ни своим родом, ни своим образованием, умом, красотою, [12] он смирялся перед всеми братьями, и он думал, что победил гордость, но в душе своей он гордился именно своим смирением и тем, что он пожертвовал всем этим для бога. И все окружающие, восхваляя его за это, поддерживали в нем эту гордость.>

Он прожил в монастыре 7 лет и на 5–м году своей жизни был пострижен в иеромонахи. На 7–м году его жизни с ним случилось, казалось бы, ничтожное событие, но такое, вследствие которого он оставил монастырь <и удалился в уединенный скит, уединенную келью, построенную в лесу, недалеко от монастыря.>

Случай, по которому он оставил монастырь, был такой: Великим постом он говел и был в особенно радостном состоянии духа, в котором, как он говорил, он чувствовал близость бога. Он стоял в один день у всенощной на обычном своем месте, когда монах, отец Никодим, подошел к нему и, поклонившись, сказал, что игумен, служивший в этот день, зовет его к себе в алтарь. Отец Сергей – такое имя в монастыре носил Кас[атский]–Ростовцев – всегда не любивший допускать разговоры во время службы, нынче особенно не желавший нарушать своего настроения, поклонился Никодиму и, исполняя обет монастырского послушания, тотчас же пошел, куда его звали.

В алтаре стоял настоятель в облачении и, улыбаясь, говорил что-то с генералом, который сейчас же узнал отца Сергия. Это был бывший командир их полка. Генерал этот теперь занимал важное положение, и отец Сергей тотчас же заметил, как отец игумен ласкался к нему. Вид этот оскорбил и огорчил отца Сергия и чувство это еще усилилось, когда он услышал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как только на то, чтобы удовлетворить любопытство генерала увидеть своего прежнего сослуживца, как он выразился. – Очень рад вас видеть в ангельском образе, – сказал генерал, протягивая руку, – надеюсь, что вы не забыли старого товарища. – Всё лицо иг[умена], среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхолощенное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард, всё это взорвало отца Сергия. Он поклонился иг[умену] и сказал: – Вы призвали меня. Что вам угодно? – Игумен сказал: – Да, повидаться с генералом.

– Отец игумен, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов. <Я не доволен силен, чтобы противиться искушению.> За что же вы здесь подвергаете меня им во время молитвы и в храме божием? – Иди, иди, [13] – вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. На другой день было объяснение, вследствие которого отец Сергей оставил монастырь. Он просил прощение у иг[умена] и братии за свою гордость, но вместе с тем, после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить монастырь. Отец Сергей еще и в миру и особенно в монастыре сделал себе привычку решать все свои сомнения с богом. Если ему надо было на что решиться, он становился на молитву и до тех пор молился, пока сомнение уничтожалось, и он слышал, как он говорил, голос, который произносил решение, которое он должен был принять. – Так было и теперь. Голос сказал ему, что он должен оставить монастырь и поселиться в пустыне. Он еще не знал, где и как он поселится, как через неделю после этого [14] архимандрит, посетивший монастырь, узнавши о случившемся, предложил отцу Сергию поселиться в заброшенном скиту около его монастыря в другой соседней губернии. Отец Сергей принял предложение и поселился в одной из келий заброшенного скита. Нашлись люди, которые захотели служить отцу Сергию и стали доставлять ему пищу. <Пищу отец Сергей принимал только хлеб.>

В уединенной келье этой прожил отец Сергей еще 7 лет. Сначала отец Сергей принимал многое из того, что ему приносили, – и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже устанавливал свою жизнь отец Сергей,

отказываясь от всего лишнего, и наконец дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Всё то, что приносили ему, раздавал бедным, приходившим к нему. Всё время свое отец Сергей проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых всё становилось больше и больше. Выходил отец Сергей только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда. Посетителей стало приходить всё больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. После 7 лет прошла далеко слава про отца Сергия, как всегда преувеличив[ая] его подвиги. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их. Первое посещение больного 14-летнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он исцелил его, было для него тяжелым испытанием. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну? Каялась в своих грехах, просила ради Христа; на утверждения отца Сергия, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергей отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные), он, выйдя из кельи за водой, увидел опять ту же мать с своим сыном, 14-летним бледным исхудавшим мальчиком, и услышал те же мольбы. Отец Сергей вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнения в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение; а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергей, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное богом. И выйдя к матери, отец Сергей исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться. Мать уехала с сыном. Через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился. И исцелялись другие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше. Так дожил отец Сергей до 50-летнего возраста. Он уже 20 лет был монахом, из которых 7 лет прожил в монастыре и 13 лет в уединении. Отец Сергей имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые. –

На масленице этого 20-го года жизни Сергия в монастыре из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и 4-х женщин. 2 были жены офицера и помещика, одна была девица, сестра помещика, и 4-ая была <вдова> разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехав 8 верст за город, три тройки остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше. –

– Да куда ведет эта дорога? – спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

- В Т. Отсюда 12 верст, – сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.
- Ну, а потом?
- А потом на Л., через монастырь, где Касаткин живет.
- Касаткин? Этот красавец пустынный?
- Да.
- Медам! Господа. Едемте к Касаткину. В Т. отдохнем, закусим.
- Но мы не успеем ночевать домой.
- Ничего, ночуем у Касаткина.
- Положим, там есть гостиница монастырская и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина. –
- Нет, я у Касаткина буду ночевать.
- Ну уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.
- Невозможно? Пари.
- Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.
- A discrétion.
- А вы тоже!
- Ну, да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами; дамы закутались в белые собачьи шубы; ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полозья.

* № 2 (рук. № 2).

В сороковых годах в гвардейском кавалерийском полку служил князь Степан Касатский–Ростовцев. Он был красив, молод и не беден; он имел 300 душ крестьян, с которых получал, за вычетом того, что платилось в ломбард, 5600 рублей дохода, что позволяло ему жить безбедно с его скромными вкусами. Вкусы у него были скромные, сравнительно с его товарищами, для которых всякого рода разврат, пьянство, игра, буйство, побои и главное распущенность половая, всякого рода

соблазны невинных девиц, посещение распутных дам и прелюбодеяния с чужими женами составляли предметы похвалы. Касатский выделялся от своих товарищей относительной чистотой своей жизни. Товарищи называли его красной девицей, несмотря на то, что он был далеко не невинность, и добродушно смеялись над ним. Но относились к нему добродушно, а не зло, потому что любили его за то, что он был добрый товарищ и необыкновенно твердый в делах чести, которые он понимал так же, как понимали ее военные люди того, да и всякого времени. Несмотря, на древнюю фамилию, Касатский–Ростовцев не принадлежал к высшему обществу. Он не принадлежал и к низшему, но не принадлежал, не был как дома, у себя, в высшем обществе. Происходило это от того, что воспитывался он один матерью вдовой, и что отец его не занимал важных придворных должностей, и не было у него ни дядей, ни дедов при дворе, и вместе с тем и он [и] его мать были горды, не заискивали сближения, с так называемым высшим обществом, которое составляется из 1) людей знатных, богатых и придворных, 2) из людей придворных и потому богатых, 3) из людей богатых и поддельвающих к первым, и из бедных ловких, поддельвающих к 1 и 2-м.

28 лет от роду Касатский–Ростовцев, будучи поручиком, сошелся с дочерью старого генерала и сделал ей предложение. Касатский–Ростовцев был очень влюблен и ослеплен и потому не заметил того, что знали почти все занимавшиеся скандальной хроникой города, что его невеста была за год тому назад в близких сношениях с важным лицом города. За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский–Ростовцев получил анонимное письмо, в котором ему грубо объявляли это. Письмо было написано вдовой, с которой Касатский–Ростовцев был в сношениях. Касатский–Ростовцев поверил письму, свел к одному всё, что он замечал прежде, и приехал к невесте вне себя. Он сам не помнил, что он говорил. Знал только, что он кричал что-то ужасное и, хлопнув дверь, выбежал (он был всегда тих и кроток, но в минуты гнева совершенно терял самообладание) и разорвал все сношения с ними. Генерал с дочерью уехали за границу, а Касатский–Ростовцев, стараясь забыть о них, продолжал служить <съездив прежде в Москву к матери и объяснив ей причину разрыва>. Дело было весной. Летом он провел в отпуску в деревне, устраивал свои дела, и у матери в подмосковной. Осенью он вернулся в Петербург <и продолжал служить. Так прожил он зиму, еще более чем прежде уединяясь от людей. Весной он получил письмо из Ниццы от своей бывшей невесты: она просила его приехать проститься с ней, простить ее перед смертью, потому что она знала, что она умирает чахоткой. Она присылала ему в доказательство портрет. Она и всегда была похожа на чахоточную своими блестящими глазами и ярким румянцем, но теперь это были мощи. Точно как будто болезнь и предстоящая смерть имели какую-то логическую силу убеждения, Касатский–Ростовцев почувствовал вдруг, что все его укоризны, обвинения ей, все вдруг разрушены, опровергнуты этими выступившими обтянутыми скулами и видом этой руки с костями и сухожилиями без мяса. И он взял отпуск и уехал к ней. Он не застал уже ее в живых, не застал даже похорон. Но он тем более простил ее и обвинил себя.> К удивлению всех товарищей, в то время как ему дали командование лейб-эскадрона, подал в отставку. Удивление всех еще усилилось, когда узнали, что Касатский–Ростовцев поступает в мон[ахи]. <Теперь он вернулся к тем мыслям и чувствам, которые были в нем тогда, но теперь он уже не сомневался более в том, что в мире

нет ничего, кроме страданий, обманов и зла и что спасение одно в боге. Найти же бога можно только в уединении и молитве. И он решил выйти в отставку, пойти в монахи.>

* № 3 (рук. № 5).

Кроме того он был красив, <силен> и ловок <и возмужал очень рано>. 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его <всегда> и после, так что ему пророчили флигель-адъютантство. Состояние у него было небольшое, но такое, при котором он легко мог содержать себя в этом роскошном полку, в который он поступил, в особенности <при воздержной> с помощью матери, которая и любила его и гордилась им.

[В дальнейшем описании внутренней работы Касатского по самосовершенствованию зачеркнуто следующее место:]

И чем труднее давалось ему то, за что он брался, тем с большей энергией, он работал над этим.

[Ниже:]

Потом он задался мыслью <обратить на себя внимание Николая Павловича и добился этого>.

* № 4 (рук. № 2).

[После слов «и залились колокольчики, и завизжали полозья» следовала характеристика Маковкиной, перечеркнутая прямой чертой:]

Маковкина была одна из тех даровитых привлекательных женщин, которые легко и тонко понимают всё хорошее, имеют отвращение от всего дурного, но которые <по слабости> не делают ничего из того хорошего, что они понимают, и живут в том <дурном, которое их отталкивает>.

* № 5 (рук. № 2).

[После слов «он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье» зачеркнуто:] и еще прежде чем она начала звать его, он вдруг, сам не зная, как это случилось, осторожно, как вор, сошел с места, подошел к щели сучка в перегородке и впился в нее глазами. Он сам не знал как, но он был побежден и уже не имел воли. Прежде чем она начала звать его, он уже решил, <что> войдет к ней, потушит лампадку и отдастся любви, потому что он знает, что она хочет этого. Он <стоял пожирая ее глазами и только что> отстранился от щели и хотел идти, <как она вдруг сказала:> <Но как только он решил идти, так тотчас же он очнулся и ужаснулся себя>.

* № 6 (рук. № 2).

[После слов «и купец прогнал всех» зачеркнуто:]

и вернувшись к отцу Сергию, сказал: – Вы бы покушали, батюшка.

– И то, – сказала Софья Ивановна, – так себя морят, так морят. Ведь вы нужны нам, батюшка.

– Ну хорошо, хорошо, приносите, я съем что–нибудь.

И отец Сергей [велел] принести ему его ужин – кашку и просвирку.

№ 7 (рук. № 2).

На рассвете он вышел на крыльцо. Неужели всё это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что ж я сделаю? Вот он тот топор, которым я рубил палец. Он схватил топор и вбежал в келью. Она лежала раскинувшись и спала. Он подошел, примерил[ся] и, взмахнув топором, ударил ее вдоль головы ниже темени. Она не крикнула, но вся привскочила и тотчас же опять упала, а он <взял свою шапку и хлеб и> выбежал и пошел вниз к реке, у которой он не был 4 года. <На реке шел плот. – Братцы, возьмите меня. – Кто ты? – Грешник. Свезите.> Вдоль реки шла <большая> дорога, он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву. Да, надо кончить, нет бога.

Комментарии Л. П. Гроссмана

«ОТЕЦ СЕРГИЙ»

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

По свидетельству П. И. Бирюкова, замысел повести «Отец Сергей» возник у Толстого в конце 1889 или в начале января 1890 г. [15]

В бытность В. Г. Черткова 28–30 января 1890 г. в Ясной Поляне Толстой выразил желание рассказать ему содержание задуманной им повести. Однако Чертков, опасаясь, что устное изложение может помешать Толстому осуществить свой замысел, попросил Льва Николаевича сообщить ему сюжет этой повести в ближайшем письме, рассчитывая таким путем втянуть писателя в литературную работу. [16]

Через четыре дня после отъезда из Ясной Поляны Чертков Толстой, гостя в имении своего старшего брата Пирогове, рассказал своей невестке замысел будущего «Отца Сергия». В Дневнике Толстого 3 февраля 1890 г. записано: «Хохотал с доброд[ушной] Мар[ьей] Мих[айловной] и рассказывал ей историю жития и музыкальной учительницы. – Хорошо бы написать. – Купеческая дочь больная – соблазнитель[ьна?] своей болезнью – и преступлением – убивает. – Духовник Ел. Серг. грубый мужик. От нас все к тебе ездят. Она всё собиралась. А она, как ты святой был, была святее тебя. Всё не то делаю» (т. 51, стр. 16).

Эта первая запись Толстого к «Отцу Сергию» довольно отчетливо отразила основные мотивы будущей повести: «история жития» – это, очевидно, этапы жизни героя в монастыре, скиту и в миру, «история музыкальной учительницы» – эпизод с Прасковьей Михайловной (Пашенькой), к которой относится, видимо, также запись: «А она, как ты святой был, была святее тебя»; «она всё собиралась» – почти буквально приведено в последней редакции: «Я мечтала всё съездить к вам, писала вам» и пр.; «больная и соблазнительная купеческая дочь», конечно, Марья; слово «убивает» относится не к ней, а к герою повести, который в одном из вариантов (№ 7) зарубил топором свою соблазнительницу; «от нас все к тебе ездят» – соответствует главе о «славе» отца Сергия, к которому стекаются издалека верующие, приводят больных и пр. Некоторые мотивы этой первой дневниковой записи (например, «духовник Ел. Серг. грубый мужик»), видимо, не получили дальнейшего развития. Но в целом эта беглая запись свидетельствует о широте первоначального замысла и намечает основные эпизоды будущей повести.

Следующая запись к «Отцу Сергию» сделана Толстым 11 февраля 1890 г.

В Записной книжке под этим числом в перечне творческих замыслов значится: «Рука сжигает[ся] пустынь[ником] и учительн[ица] музыки» (т. 51, стр. 125).

Таким образом, очевидно, что Толстой продолжал обдумывать сюжет, рассказанный им в Пирогове 3 февраля.

Первоначальный набросок повести был сделан Толстым в письме к В. Г. Черткову, напечатанном в т. 87 настоящего издания (стр. 12–17) под датой: «февраль 1890 г.».

П. А. Буланже в комментарии к первой публикации этой повести в «Посмертных художественных произведениях» Л. Н. Толстого сообщает, что Толстой послал Черткову сделанный им набросок повести в первом же письме, адресованном Черткову после его отъезда из Ясной Поляны (30 января). Это неверно: первое письмо после отъезда Черткова датировано 1 февраля (т. 87, стр. 7). Кроме того, судя по содержанию наброска повести, можно с уверенностью сказать, что письмо, излагающее этот набросок, не могло быть написано ранее 11 февраля. Набросок заканчивается поездкой веселящейся компании в монастырь и решением Маковкиной провести ночь у Касатского. В повести этот эпизод завершается отсечением пальца Касатского. Намек на этот эпизод с отсечением пальца сделан Толстым в записи 11 февраля («рука сжигается пустынноником»). Следовательно, начало повести могло быть послано Черткову только после 11 февраля.

Между тем это не произошло ни в середине, ни в конце февраля 1890 г. Каждый день февраля отмечен в Дневнике Толстого точным указанием писательской работы за истекшее число. Судя по тому, что о таком крупном творческом событии, как первая редакция «Отца Сергия», здесь нет ни одного упоминания, письмо Черткову с началом повести не было послано ни в середине, ни в конце февраля. Пропустить такой выдающийся факт при описании своего рабочего дня Толстой, конечно, не мог.

Против датировки первой редакции «Отца Сергия» февралем 1890 г. свидетельствует и то, что свою копию записи повести вместе с письмом Толстого Чертков послал ему только 3 июня. Таким образом, если считать началом переписки новой повести первые числа февраля, то на копирование восьми почтовых страниц малого формата корреспондент Толстого потратил около четырех месяцев.[17] Если вспомнить, какое значение придавал Чертков этому произведению, как он неоднократно убеждал Толстого приступить к разработке этого замысла, такое предположение само собою отпадает.

Анализ всех материалов по ранней творческой истории «Отца Сергия» приводит к заключению, что первая редакция повести была написана не ранее марта 1890 г. и не позже мая того же года. Точнее датировать этот вариант повести нет пока возможности.

В обоснование датировки следует разъяснить еще одно обстоятельство. Начальная фраза записи: «Ну вот вам история. Надо поскорее рассказать, а то забуду» – неправильно понималась как указание на близость момента записи к первой попытке Толстого рассказать

«историю» Черткову. Приведенная фраза имеет тот смысл, что у Толстого до некоторой степени уже определился характер развития сюжета, обозначились основные эпизоды повести. Отсюда желание «поскорее рассказать, а то забуду»; опасно было забыть не первоначальный замысел, а этот «разросшийся сюжет». Но само это «разрастание» не могло завершиться в несколько дней. Более того, оно потребовало более пристального изучения темы, ознакомления с обстановкой, с действительностью, как это всегда происходило в творческой лаборатории Толстого.

Так, несомненно, обстояло дело и с «Отцом Сергием». До написания необходимо было собрать материалы и обдумать. Уже к двадцатому февраля возникает план поездки в Оптину пустынь, очевидно с целью освежить и углубить свои впечатления о том быте, который предстояло изобразить в новой повести. Впечатление от этой поездки Толстой вынес резко отрицательное. В записях Дневника, который он вел в пути, Толстой высказывается против демонстративного аскетизма, еле прикрывающего «соблазны» и праздную жизнь. Такое «духовное сибаритство» монастыря резко осуждается Толстым. «С ними дьявол», – записывает он свое впечатление о «старцах». Они живут чужим трудом. «Это святые, воспитанные рабством». Знаменитый Амвросий «жалок, жалок своими соблазнами до невозможности». Деньги, внешняя обрядность, тунеядство, нелепые и лицемерные поучения – вся эта закоптелая церковность подлежит, по Толстому, отмене. «Уничтожить все внешние обряды», «разделать эту божественность» – вот вывод из его оптинских впечатлений, [18] который отразился в первой же записи «Отца Сергия» и в облике игумена–карьериста и в фанатическом аскетизме монаха и старца, бессильного сломить свою страстную и гордую натуру.

Благоприятными оказались впечатления лишь о некоторых лицах, живших в монастыре. Двоюродный брат С. А. Толстой, Б. В. Шидловский, решивший принять схиму, «умилил» Толстого; «прекрасно беседовал» Толстой и с писателем Константином Леонтьевым, готовившимся к тайному постригу.

Интерес писателя вызвал, несомненно, быт Оптиной пустыни. По первой записи «Отца Сергия» герой после столкновения с игуменом удаляется в уединенный лесной скит недалеко от своего монастыря (по дальнейшему изложению – в соседнюю губернию, где имелся монастырь с заброшенными лесными кельями). Такой скит для пустынножителей, расположенный в 170 сажнях от монастыря в густом бору, имелся в Оптиной обители. Здесь селились «пустынники», «старцы», «угодники», привлекавшие нередко многочисленных посетителей. Возможно, что Толстой в свою поездку 1890 г., когда он обдумывал тему отшельничества и старчества, посетил и эти места. «Святая целебная сила старца Сергия», описанная Толстым уже в первой эпистолярной редакции повести, связана с его непосредственными наблюдениями оптинского «старчества».

Все это заметно отразилось на первой записи «Отца Сергия», сообщенной в письме В. Г. Черткову. Эта эпистолярная редакция будущего «Отца Сергия» заключала первоначальную характеристику князя Касатского–Ростовцева, беглый очерк его жизненной судьбы, его уход в

монастырь и начало эпизода с молодой вдовой Маковкиной, решившей соблазнить отшельника. Рассказ обрывался на моменте отъезда веселящейся компании к келье отца Сергия. Мы воспроизводим целиком эту запись в отделе вариантов (№ 1).

Получив письмо с записью начала повести, Чертков переписал полностью весь текст толстовской записи, оставив широкие пробелы между строками, большие поля и несколько чистых листов для дальнейшей авторской разработки первой редакции. Эту копию вместе с оригиналом, то есть письмом Толстого, Чертков послал ему 3 июня 1890 г. Копия Черткова действительно послужила основой для развертывания и развития первоначальной записи; но этому предшествовало длительное обдумывание Толстым идеи и главных ситуаций задуманной «истории».

6 июня 1890 г. Толстой записал в Дневнике: «Начал Отца Сергия и вдумался в него. Весь интерес – психологические стадии, которые он проходит» (т. 51, стр. 47). 11 июня 1890 г. он сообщает В. Г. Черткову: «Рассказ «Отца Сергия» очень заинтересовал меня, я кончил теперь предисловие к книге Алексева и займусь им. Очень может быть интересно» (т. 87, стр. 30). Под тем же числом Толстой заносит в свою Записную книжку: «К Отцу Сергию. Сам[ый] святой так[ой] же чорт, как и сам[ый] грешный» (т. 51, стр. 139). К 13 июля 1890 г. относится запись Толстого: «После кофе писал Отца Сергия. – Не дурно. Но не то. Надо начать с поездки блудницы». К 14 июля: «Хочется и начать Отца Сергия сначала» (т. 51, стр. 62).

Таким образом, в середине лета 1890 г. меняется композиционный план повести. Однако, судя по рукописям, к осуществлению этого нового плана Толстой не приступал.

28 июля 1890 г. Толстой в ответ на несохранившееся письмо Черткова писал ему: «Спасибо, что напоминает об Отце Сергии. Я возьмусь за него. А то всё отвлекался предисловием к декларации Гаррисона и катехизису Баллу, которое разрастается в большую и очень нужную статью об обмане церкви. [19] Может быть, и кончу после, а теперь хочется кончить Сергия» (т. 87, стр. 37). Однако работа над повестью летом 1890 г. выразилась, главным образом, в обдумывании замысла. 3 августа 1890 г. Толстой записывает в свой Дневник: «Писал немного Отца Сергия. Ясно обдумывалось»; 4 августа: «Думал хорошо об Отце Сергии, записал и потерял записную книжку»; 4 августа в Записной книжке: «К «Отцу Сергию». Она ушла, и он в отчаянии за свою плохоту. Она ждет величественного, и вдруг простой, конфузится, перебирает бороду, но глаза... Это-то и разжигает ее». 6 августа: «Нашел записную книжку. Было записано к Отцу Сергию. Она объясняет свой приезд, говорит чепуху, и он верит, потому что она – красота. Она в охоте. Он не видит подвига, а напротив, ему стыдно, что он поддался. Уже после она идет в монастырь...» [20] (см. т. 51, стр. 71, 72 и 160). Эти сюжетные варианты не получили дальнейшего развития, кроме последнего: моральное потрясение Маковкиной в келье отца Сергия приводит к полному перелому ее жизни («через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре»). Попутно уясняется и моральная эволюция главного героя: «К Отцу Сергию. Описать новое состояние счастья – свободы, твердости человека, потерявшего всё и не могущего упереться ни на что, кроме бога. Он

узнает впервые твердость этой опоры»[21] (запись 10 августа 1890 г., т. 51, стр. 74).

К этому времени относится углубление первоначального замысла об отшельнической «гордости» героя в сцене встречи его с свитским генералом по вызову карьериста-игумена (намеченной уже в первой редакции). 11 августа Толстой записывает: «К Отцу Сергию. Он предался гордости святости в монастыре – и пал с генералом и игумном. В затворе он кается и высок в то время, как приезжает блудница» (т. 51, стр. 74).

Одновременно обдумываются конкретные детали повествования. 14 августа: «Думал: к Отцу Сергию. Когда он падает, он видит рожи. Пухлые рожи, и ему думается, что это черти». 18 августа: «К Отцу Сергию. Подробность, долженствующая дать уровень реальности. Адвокат на морозе втягивает соплю. И от[22] него пахнет духами, табаком и ртом. [23] Всё глубже и глубже забирает эта история. Соблазн славы людской и прославления, т. е. обман, чтобы скрыть веру» (т. 51, стр. 75 и 78).

Не получая известий о работе Толстого над повестью «Отец Сергей», Чертков запросил его о ней 4 сентября 1890 г.: «Ну что, Лев Николаевич, делает отец Сергей? Он ведь живет не так далеко; очень уж долго едет к нему компания на тройках, а ведь передний ямщик повернулся боком, повел кнутовищем – собрался живо довести».

«Сергия» я начал писать, – отвечал Толстой 17 сентября, – и он мне очень понравился, т. е. разросся сюжет и хотелось выразить то, что я думал о нем. Не берусь же за него потому, что на дороге стоит всё заключение к провозглашению Гаррисона и «Катехизису» Ballou» (т. 87, стр. 47).

Осенью 1890 г. Толстой обращается к углублению характера своего героя, стремясь осветить полнее его религиозно-нравственный кризис (уход в монастырь). Дневниковая запись 31 октября сообщает: «Стал писать Сергия сначала. Кое-что поправил, но, главное, уяснил себе. Надо рассказать всё, что было у него в душе: зачем и как он пошел в монахи. Большое самолюбие (Куз[минский] и Ур[усов]), честолюбие и потребность безукоризненности» (т. 51, стр. 98). Толстой, как видим, связывает некоторые особенности в характере отца Сергия с реальными чертами близких ему людей: тульского вице-губернатора Л. Д. Урусова и свояка

А. М. Кузминского.

Идейный замысел «Отца Сергия» определился с самого начала, но в дальнейшем процессе работы над ним, особенно в течение 1891 г., он получил значительное развитие и углубление.

16 февраля 1891 г. Толстой в письме к Черткову уже так определяет основную идею повести: идея «Отца Сергия» не борьба с похотью, но, главным образом, борьба с тщеславием, гордостью, – «славой людской». «На дороге стоит статья о науке и искусстве и о непротивлении злу, – пишет он. – О Сергии не смею думать. А кое-как не хочется. Я его и

отложил оттого, что он очень мне дорог. Борьба с похотью тут эпизод, или скорее одна ступень; главная борьба с другим – с славой людской (т. 87, стр. 71).

Об этом же Толстой сообщает в письме к В. П. Золотареву от 14 марта 1891 г.: «Вы спрашиваете о моей истории Отца Сергия. Там я хотел бы выразить эти две различные основы деятельности. То он думал, что живет для бога, а под эту жизнь так подставилось тщеславие, что божьего ничего не осталось, и он пал; и только в падении, осрамившись навеки перед людьми, он нашел настоящую опору в боге. Надо опустить руки, чтобы стать на ноги» (т. 65, стр. 268). Так продолжался процесс обдумывания «Отца Сергия» с редкими записями и небольшими дополнениями к первой редакции.

«Чертковскую рукопись», то есть копию Черткова с первоначальной записи, отчасти разработанную и дополненную Толстым в летние месяцы 1890 г., переписывает 3 июля 1891 г. дочь писателя Мария Львовна. В эту копию Лев Николаевич вносит ряд мелких поправок и дополнений и приписывает к ней небольшой отрывок в три страницы – размышления отца Сергия о самоубийстве и воспоминание его о кузине Пашеньке.

Мы не можем принять указание первого комментатора «Отца Сергия» П. А. Буланже: «Только летом 1891 г. Лев Николаевич стал писать снова «Отца Сергия». Он стал исправлять переписанный Чертковым экземпляр и широко воспользовался оставленными между строками местами, исписав их своими поправками и затем значительно дополнив первоначальный набросок». Этим как бы отрицается работа Толстого над историей князя Касатского летом и осенью 1890 г. Между тем в эти месяцы, как свидетельствует Толстой в своем Дневнике, он писал «Отца Сергия» и, очевидно, дополнял «переписанный Чертковым экземпляр». Летом следующего, 1891 г., он продолжал работу, доведя ее до финального эпизода (встречи с Пашенькой).

К этому времени четко определились ведущие идеи повести. 10 июня 1891 г. Толстой заносит в Дневник: «К Отцу Сергию. Он узнал, что значит полагаться на бога только тогда, когда совсем безвозвратно погиб в глазах людей. Только тогда он узнал твердость, полную жизни. Явилось полное равнодушие к людям и их действиям. Его берут, судят, допрашивают, спасают, – ему всё равно. – Два состояния: первое – славы людской – тревога, второе – преданность воле божьей, полное спокойствие» (т. 52, стр. 39); и 12 августа 1891 г. заносится в Дневник мысль, которая может считаться основной для «Отца Сергия»: не нужно «искать добрых дел, подвигов», а «делать, что от тебя требуется сейчас, в том положении, в каком ты находишься, наилучшим образом».

6 ноября: «Нынче думал к Сергию. Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтоб попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смиренен. И счастье вырваться из рук дьявола и почувствовать себя в объятиях бога» (т. 52, стр. 57–58).

К лету 1891 г. относится ряд дневниковых записей Толстого,

разъясняющих развитие его замысла. 22 мая 1891 г.: «Забыл записать, что один из этих последних дней я писал Отца Сергия. Решил кончить всё начатое. Написал дурно, но пригодится». 2 июня: «В Туле же видел женщину: глаза близко и прямые брови, как будто готова плакать, но пухлая, миловидная, жалкая и возбуждающая чувственность. Такая должна быть купчиха, соблазнившая Отца Сергия». 17 июня: «К Отцу Сергию. После того как он убил, сидит в темноте и вдруг видит, что заря занимается, светлеет и будет день – свет. Ужас». Тогда же занесено в Записную книжку. «Отец Сергий ждёт солнца» (т. 52, стр. 34, 36, 41 и 172). В повести этому соответствует отрывок из главы VII: «Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца». Сергий думает о самоубийстве, затем видит во сне свою кузину Пашеньку и решает идти к этой несчастной и кроткой женщине.

Одновременно Толстой обдумывает и тему борьбы Сергия с мирскими соблазнами, со своей чувственностью. 22 июня 1891 г. Толстой записывает: «К Отцу Сергию. Когда он пал с купеческой дочерью и мучается, ему приходит мысль о том, что если падать, то лучше бы ему пасть тогда с красавицей А., а не с этой гадостью. И опять гадость захватывает его». В сентябре 1891 г. Толстой заносит в Записную книжку: «К Отцу Сергию. От похоти затемняется мир». Этому соответствует запись в Дневнике 18 сентября 1891 г.: «Приступы половой похоти порождают путаницу мыслей, скорее отсутствие мыслей. Весь мир потемнеет; теряется отношение к миру. Случайность, мрак, бессилие» (т. 52, стр. 46, 53 и 186).

Тогда же, во время поездки в Епифанский уезд, в места, пораженные неурожаем, Толстой берет с собою рукопись «Отца Сергия» и прочитывает ее у брата в Пирогове. «К удивлению недурно как есть». Впрочем, «начал поправлять начало, но не пошло» (запись 25 сентября 1891 г., т. 52, стр. 55).

В октябре заносится в Записную книжку: «Человек, который не терпит поправки, идет всё дальше и дальше в самомнении. Сережа. Товарищи Отца Сергия» (т. 52, стр. 187).

Так определилась работа Толстого над «Отцом Сергием» за весь первый период творческой истории этого произведения. В 1890–1891 гг. были подробно разработаны обстоятельства ранней биографии Касатского–Ростовцева и оба эпизода «искушения» отца Сергия (Маковкиной и Марьей), хотя и по-иному, чем в окончательной версии. По ранней редакции отец Сергий после падения с купцовой дочерью убивает ее. Вся эту стадию работы и представляет «чертковская рукопись», то есть копия «эпистолярной» редакции, переписанная Чертковым весной 1890 г. и разработанная Толстым в летние месяцы 1890 и 1891 гг. На обложке чертковской рукописи рукою Марии Львовны Толстой написано: «Отец Сергий. 1891 год.

Лето». Эта дата означает, что летом 1891 г. шла основная работа по развитию и дополнению первой записи, частично уже разработанной в 1890 г.

После 1891 г. работа над «Отцом Сергием» прерывается почти на семь лет, если не считать записи в Записной книжке 1893 г.: «Первый

ученик в пажеском корпусе» и в Дневнике 29 мая 1893 г. о «юрродстве»: «Как только человек немного освободится от грехов похоти, так тотчас же он отступает и попадает в худшую яму славы людской». Главное в борьбе со славолубием – «не разрушать установившегося дурного мнения и радоваться ему, как освобождению от величайшего соблазна и привлечению к истинной жизни». «Эту тему надо разработать в Сергии. Это стоит того» (т. 52, стр. 82 и 240). Наконец в Дневнике Толстого 18 марта 1895 г. имеется запись: «Один раз немного пописал к «Отцу Сергию», но не хорошо» (т. 53, стр. 13).

Только в 1898 г., когда в связи с преследованием духоборов сочувствующие им лица стали собирать средства для их отъезда в Канаду, Толстой, уже выступавший в русской и иностранной печати с призывами к оказанию общественной помощи переселенцам, решил с теми же целями напечатать одно из своих произведений. В середине июля 1898 г. он сообщил Черткову, что намерен опубликовать для оказания помощи духоборам три имеющиеся у него в рукописях повести: «Воскресение», «Дьявол» и «Отец Сергий». Еще с начала лета он приступил к обработке последнего из этих трех замыслов и в течение целого месяца не прекращал работы над ним.

Об этом в Дневнике имеются следующие записи: 12 июня 1898 г.: «Нынче совсем неожиданно стал доканчивать «Сергия»; 14 июля: «Оба дня писал Отца Сергия. Недурно уясняется»; 28 июня: «Нынче писал Отца Сергия.... недурно»; 30 июня: «Эти дни писал Сергия – не хорошо»; 17 июля: «Решил отдать свои повести: Воскресение и Отец Сергий в печать для духоборов», и под тем же числом записаны мысли к повести: 1) «К «Отцу Сергию». Один хорош, с людьми падает». 2) «Нет успокоения ни тому, который живет для мирских целей среди людей; ни тому, который живет для духовной цели один. Успокоение только тогда, когда человек живет для служения богу среди людей» (т. 53, стр. 197, 199, 201, 203, 204).

Вероятно, решение Толстого срочно сдать «Отца Сергия» в печать вызвало в 1898 г. переписку на ремингтоне всей предшествующей редакции (по копии М. Л. Толстой). По этому машинописному экземпляру Толстой развивает рассказ о невесте князя Касатского–Ростовцева, о пребывании отца Сергия в монастыре и скиту, вычеркивает описание убийства Марьи, вносит эпизод с Пашенькой и главу о странствиях героя. Заключительная встреча странника с нарядной компанией, мнение которой о нем ему совершенно безразлично, как бы завершает весь путь его исканий. «Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь». Он нашел свою правду в безвестности и незаметном служении людям («учит детей и ходит за больными») (см. описание рук. № 6).

Такова последняя редакция повести, в которую включен один из предшествующих автографов (начало рассказа), переписанный М. Н. Ростовцевой, вместе с значительно дополненными отрезками машинописной копии. На этом заканчивается работа Толстого над «Отцом Сергием».

В октябре 1900 г. Толстой получил письмо от редактора голландского журнала «Vrede» Феликса Орта, запрашивавшего его, насколько справедливы газетные сообщения о его работе над романом «Отец

Сергий». «Я начал несколько вещей, – отвечал ему 18 октября 1900 г. Толстой, – между прочими роман, о котором вы упоминаете, но времени у меня осталось мало и совесть требует писать не то, что мне приятно, а то, что мне кажется нужным» (т. 72, стр. 480).

Тогда же (8 октября 1900 г.) Толстой рассказал посетившему его в Ясной Поляне Горькому содержание «Отца Сергия» (об этом см. в предисловии к настоящему тому).

В последнее десятилетие своей жизни Толстой к работе над «Отцом Сергием» не возвращался.

Подведем итоги.

Пользуясь условным цифровым обозначением глав печатной редакции, можно считать, что в основном главы I, II, III и часть IV были написаны в 1890 г.; вторая половина главы IV, V, VI и VII – в 1891 г., глава VIII – в 1898 г. Но нужно помнить, что эти обозначения приблизительны и некоторые отрывки из указанных глав могли писаться дополнительно, при позднейших переработках и даже в последней стадии работы (то есть – в 1898 г.).

В печати при жизни Толстого повесть не появлялась. Он считал ее незаконченной, но вчерне установленной, то есть доведенной до той стадии, «когда связно и последовательно, но хочется отделять» (письмо к В. Г. Черткову от 31 августа 1902 г., т. 88). К этой стадии окончательной отделки текста «Отца Сергия» Толстой так и не приступил. Повесть сохранилась в виде черновой редакции, состоящей из разновремененно написанных частей.

При жизни Толстого был опубликован лишь один небольшой отрывок из «Отца Сергия» в виде факсимиле страницы из автографа. В известной книге П. Сергеенко «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», М. 1898, на стр. 53 помещен снимок с черновой рукописи «Отца Сергия» с многочисленными поправками, зачеркнутыми строками, вписанными между строк дополнениями и пр. Этот отрывок из главы печатного текста от слов: «за это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри» до слов: «и дурное чувство это разразилось. Случилось это вот как:».

Впервые в печати «Отец Сергий» появился в 1911 г. Он вошел во второй том «Посмертных художественных произведений» Л. Н. Толстого под редакцией В. Черткова, М. 1911, стр. 3–48. Повесть разделена на восемь глав с внутренним делением некоторых глав на небольшие эпизоды (разделенные линейкой). В примечаниях указывалось, что «разделение повести на главы частью принадлежат автору, частью же сделано редакцией, так как в черновых рукописях автора разделение это было начато, но не доведено до конца». В тексте первых глав редакция была вынуждена сделать ряд пропусков по цензурным соображениям (пропущенные места были заменены соответственным количеством многоточий). Пропуски касались упоминаний Николая I и особенно его любовных историй. Редакция внесла в свой текст ряд исправлений, устраняя противоречия, неточности и описки различных черновиков. В примечаниях указано одиннадцать таких исправлений,

согласующих тексты разных редакций. Там же приводился заключительный вариант второй редакции (1891) об убийстве Марьи от слов: «он схватил топор» до: «Да, надо кончить. Нет бога». Наконец редакция давала заметку Буланже, излагавшую краткую историю работы Толстого над «Отцом Сергием» по свидетельствам В. Г. Черткова, Дневникам, письмам и Записным книжкам Льва Николаевича.

Почти одновременно был опубликован текст повести и за границей. В 1912 г. в Берлине вышел второй том «Посмертных художественных произведений» Л. Н. Толстого под редакцией В. Г. Черткова. [24] Текст берлинского издания отличался от русской публикации отсутствием цензурных пропусков. Все места, опущенные в московском издании, были воспроизведены в заграничном с включением их в прямые скобки. Нумерация глав была несколько изменена (шесть глав вместо восьми). Отсутствовали примечания русского издания, так что редакторские конъектуры остались здесь неоговоренными. Впрочем, редакционных поправок в берлинском издании оказалось значительно меньше, чем в русском.

Текст первого русского посмертного издания неоднократно воспроизводился впоследствии почти без изменений.

При первом опубликовании «Отца Сергия» во втором томе «Посмертных художественных произведений» Л. Н. Толстого редакция внесла в текст ряд поправок для согласования противоречий черновых редакций:

1. «В оригинале сказано: «в монастыре, близком к столице и много посещаемом» [стр. 12, строка 6]. Мы выпустили слова: «близком к столице», потому что дальше сказано, что первые семь лет монашества отец Сергей провел в монастыре, не близком к столице».
2. «В оригинале: «в монастырь» [стр. 12, строка 29]. Наша поправка основана на том, что в начале повести сказано, что Касатский, перед поступлением в монахи, отдал свое имение сестре».
3. «В оригинале сказано: «второго года» [стр. 17, строка 18], но в главе VI говорится, что событие это произошло после пяти лет жизни Сергия в затворе. Соответственное исправление пришлось сделать также и в начале главы V, которая в оригинале начинается словами: «Отец Сергей жил четвертый год в затворе».
4. «В оригинале – «архитектор» [стр. 19, строка 12]. Мы исправляем: «адвокат», так как в начале главы в составе компании катающихся упомянут адвокат, а не архитектор».
5. «В оригинале сказано: «отрубленный сустав» [стр. 25, строка 32]. Это, очевидно, описка, так как из дальнейшего изложения видно, что отец Сергей прихватил оставшийся сустав, а отрубленная часть пальца осталась лежать в снях».
6. «В оригинале: «семь лет в монастыре» [стр. 28, строка 16]. Но из главы III видно, что Сергей пробыл семь лет в одном монастыре и два в другом, – всего в обоих монастырях девять лет».

7. «В оригинале: «в келью» [стр. 37, строка 2]. Эти слова мы заменяем словами, «за перегородку», чтобы устранить неясность вследствие того, что словам: «прошел в келью» в рукописи предшествуют слова: «вошел в келью».
8. «В оригинале после этих слов следует: «По 50 за час» [стр. 38, строка 26]. Эти слова исключаются как не соответствующие тому, что говорит далее Прасковья Михайловна Сергию о цене даваемых ею уроков».
9. «В оригинале стоит: «200 верст» [стр. 39, строка 27]. Исправляем 200 на 300 для согласования со сказанным раньше в конце главы VII».
10. «В оригинале: «почти 30 лет» [стр. 39, строка 33]. Мы исправляем согласно концу главы VI, где сказано, что Сергей пробыл девять лет в монастырях и тринадцать в затворе». (Примечания к «Отцу Сергию». «Посмертные художественные произведения» Л. Н. Толстого, т. II, стр. 236–238.)

В настоящем издании текст повести «Отец Сергей» печатается по рукописям. В публикуемый текст вносятся четыре исправления по сравнению с текстом рукописи. Они соответствуют №№ 3, 4, 6 и 9 приведенных выше поправок, принятых в первопечатном тексте. Согласно первопечатному тексту проводится и деление повести на восемь глав. По рукописям видно, что Толстой имел в виду разделить «Отца Сергия» на главы–эпизоды, обозначив их римскими цифрами: в одной из редакций проставлена перед началом цифра I, затем в двух местах повторяется III, но принцип деления не проведен последовательно по всем рукописям. Естественное деление повести по главным эпизодам на восемь глав с внутренними подразделениями принято нами ввиду явно выраженного, но неосуществленного намерения Толстого. В некоторых случаях сплошной текст рукописи делится на абзацы.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

В рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого хранятся следующие рукописи «Отца Сергия».

1. Автограф. 4 лл. почтового формата, исписанных с обеих сторон, и 1 л. 4°, согнутый вдвое (исписана одна страница). Первая редакция начала повести, посланная в письме к В. Г. Черткову. Печатается в вариантах под № 1.
2. Копия предыдущей рукописи рукой В. Г. Черткова. 8 лл. большого почтового формата, исписанных с обеих сторон, и 16 лл. 4° автографа – продолжения повести. Начало: «Ну вот вам история. Конец: «Да, надо кончить, нет бога».

Первая часть рукописи (копия В. Г. Черткова) представляет собою переписку с широкими пробелами между строк и большими полями. В первых страницах пространство между строк и поля почти сплошь заполнены новыми записями Толстого, значительно расширяющими биографию героя.

Менее переработаны отрывки об отце Сергии в затворе, об исцелениях и пр., как и начало эпизода с Маковкиной (почти без изменений). Начиная со страницы 15, идет новая черновая запись Толстого, представляющая собою продолжение повести (этим заняты последние две страницы чертковской копии и все последующие страницы автографа).

Вторая часть рукописи (автограф) содержит изложение двух основных эпизодов повести: ночь с Маковкиной и случай с купеческой дочерью. Черновая запись заканчивается убийством Марьи (не вошло в окончательную редакцию) и уходом отца Сергия из монастыря.

В тексте на полях двух страниц занесены два кратких конспекта. На одной странице:

Осуждение монахов. Их смирение и покорность церкви.

В нем поднимается честолюбие монашеское, но он поборает его и гордится этим. От этого так жестоко отвечает.

На другой:

Он поехал к старцу и покорился ему. Старец дает послушание, жизнь в скиту. Просит благословения на затвор.

Вся рукопись вложена в обложку с надписью рукою М. Л. Толстой: «Отец Сергий. 1891 год. Лето». Извлекаются варианты №№ 2, 4–7.

3. Копия рукописи № 2 рукою М. Л. Толстой с поправками автора. 52 лл. 4° и 2 отрезка. На обложке рукою М. Л. Толстой обозначено: «3 июль 1891 год. Отец Сергий». В конце копии – автограф продолжения повести: раздумье Сергия о самоубийстве, о невозможности молиться («бога не было»), краткий сон, воспоминание о девочке Пашеньке, о ее дальнейшей жизни. Запись обрывается на словах: «Он знал город, в котором живет, – это было за 300 верст, и пошел туда».

4. Часть машинописной копии рукописи № 3. 1 л. и небольшой отрезок второго листа на тонкой бумаге большого почтового формата, заполненной текстом с одной стороны, с поправками Толстого. Это остаток большой машинописной копии, представляющей собой вступление к повести (начало биографии Касатского–Ростовцева). Остальная часть машинописи, то есть нижний отрезок второго листа и еще несколько страниц, переложена в рукопись № 6. Начало: «В сороковых годах в гвардейском кавалерийском полку». Конец: «и из бедных, ловких, подделывающихся к первым и вторым».

5. Автограф. 2 лл. 4°. Исписаны три страницы. Начало: «Отец Степана Касаткина, отставной полковник гвардии». Конец: «отец его никогда не

был придворным». Извлекается вариант № 3.

б. Черновики последней редакции. 15 лл. 4°, 6 лл. большого почтового формата, 1 л. почт. формата и 5 отрезков. Рукопись состоит из следующих текстов: в основу положена копия первой (эпистолярной) редакции отрывка повести, сделанная рукою М. Н. Ростовцевой. Это начало повести (воспитание Касатского–Ростовцева, его характеристика) заканчивается описанием четырех слоев «высшего общества». Первая страница копии заменена новым авторским вариантом. Вложены листы машинописи из рукописи № 4. Переработано начало повести в целях оживления вступительной части: «В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие» (первые два абзаца печатной редакции). Копия была переработана Толстым и покрылась многочисленными и обширными дополнениями, составляющими новую рукописную редакцию отдельных мест: здесь впервые рассказывается о влюбленности юного Касатского в Николая Павловича и о замечании царя в кадетском корпусе. Значительно переработана история отношений с невестой. Исключено описание смерти девушки за границей и поездки туда Касатского и пр. и развернута сцена объяснения с ней.

На последних двенадцати страницах дана первая черновая запись конца повести – посещение Пашеньки, странничества Сергия, встреча с господами в шарабане и заключительный отрывок («Восемь месяцев проходил так Касатский»).

На поле последней страницы вдоль написано карандашом рукою Толстого крупным почерком: «Всё очень скверно».

В настоящем состоянии в рукописи отсутствует несколько страниц. Отсутствие одной из них оговорено вставкой: «Следующая страница оригинала «Отца Сергия» находится у П. А. Сергеенко». Фотография с нее приложена к изданному им III тому писем Льва Николаевича («Новый сборник писем Л. Н. Толстого», собрал П. А. Сергеенко, под редакцией А. Е. Грузинского, М. 1912, стр. 123).

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИДЦАТЬ ПЕРВОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят художественные произведения и статьи Л. Н. Толстого второй половины девяностых годов.

Крупнейшее произведение этого периода – роман «Воскресение» – и относящиеся к нему варианты напечатаны в 32 и 33 томах.

Трактат «Что такое искусство?» (1897–1898 гг.) вместе с другими статьями об искусстве входит в 30 том.

Из произведений, включенных в 31 том, только некоторые были напечатаны при жизни Толстого, и те, в большинстве случаев, с цензурными изъятиями. Другие были опубликованы в издательстве

«Свободное слово» за границей (например, «Две войны») или после смерти Толстого – в томах посмертных художественных произведений и в отдельных изданиях; впервые полностью печатается в настоящем томе статья «К итальянцам».

Эти произведения Толстой создавал в конце века, в период промышленного подъема и роста революционного движения в стране. Рабочий класс, эксплуатируемый фабрикантами и заводчиками, уже открыто заявлял о своих правах, о своей революционной решимости. Стихийный протест против угнетения и бесправия назревал и в среде трудового крестьянства, страдавшего от безземелья и разорения. Царское правительство отвечало на растущие волнения народных «низов» репрессиями и террором.

Произведения, Дневники и письма Толстого этих лет показывают, как живо он откликался на общественные и политические события, как остро реагировал на факты религиозного и политического насилия, как неутомимо и вдумчиво размышлял над теми проблемами, которые стояли перед страной.

Во второй половине девяностых годов, по мере обострения противоречий социальной действительности, обострились и противоречия, характерные для мировоззрения и творчества Толстого. Писатель ясно видел, в каком бедственном и тяжелом положении находятся народные массы, сочувствовал их борьбе против царизма, гнета помещиков и капиталистов, отчетливо понимал, что Россия находится на пути к революции. Защищая интересы этих масс, он обрушивался с беспощадной критикой на самодержавие, на полицейско-бюрократический аппарат, на все то, что давило и угнетало трудовой народ. Но, выражая настроения «всей той многомиллионной массы русского народа, которая уже ненавидит хозяев современной жизни, но которая еще не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними», [25] Толстой верил в возможность мирного разрешения всех общественных противоречий, предотвращения революционной бури.

Революционный способ уничтожения ненавистного ему социального строя он стремился заменить глубоко реакционной, ошибочной теорией непротивления злу насилием, личного совершенствования, любви и христианского братства.

Великий писатель выступает в эти годы и в роли гневного обличителя социальной несправедливости и в роли проповедника «новой религии», христианского смирения и кротости.

I

Одной из тем художественного творчества писателя в девяностые годы является тема нравственного «воскресения» – пробуждения в человеке нового взгляда на жизнь, критического отношения к окружающему его

социальному злу. Воскресение толстовского героя, как правило принадлежащего к привилегированным кругам, сопровождается острым кризисом его мировоззрения, потребностью в изменении всего образа жизни, поисками новых путей.

Повесть «Отец Сергей» принадлежит к тем творениям Л. Толстого, в которых рассказывается мучительная история прозрения и «воскресения» героя и изображаются различные стадии его духовных исканий.

По своему сюжету повесть отдаленно напоминает рассказы из «житий святых». В ней также описывается жизнь человека, уединившегося от общества и борющегося с искушениями и соблазнами. Но действие повести перенесено в реальную обстановку конца XIX века, а по своему содержанию она направлена не на прославление затворничества и церковной святости, а на его разоблачение. Толстой, автор «Отца Сергия», обличает официальную религию, отрицает монастырское отрешение от мира, показывает, что оно не в состоянии принести ни удовлетворения тем, кто ищет нравственного идеала, ни помощи тем нищим и страждущим, которые нуждаются в реальных, земных благах.

Герой повести князь Степан Касатский уходит в монастырь, разочарованный в аристократическом обществе, которое, после пережитой им личной драмы, предстало перед ним в подлинном своем неприглядном виде.

Аристократ Степан Касатский отрекается от всех мирских интересов, уединяется в келье, глубоко убежденный, что, став отцом Сергием, он найдет новую, справедливую жизнь. «Поступая в монахи, он показывал, что презирает всё то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал». [26] Но всем ходом повествования писатель разбивает иллюзии своего героя. Сталкивая его с реальной действительностью, ставя его в типические условия церковного быта, Толстой показывает, что высота эта мнимая. В монастыре Касатский находит ту же суету сует, ложь, фальшь и корысть, от которых он с отвращением бежал. Показная парадность, лицемерие, чисто внешняя обрядность, эгоизм, тщеславие, неискренность пронизывают весь монастырский быт. Писатель критически рисует монашескую среду, типы монахов: глава монастыря, игумен – «светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру»; ризничий – льстив, угодлив; монахи преследуют только корыстные цели и повинуются, главным образом, «монашескому честолюбию». Атмосфера чинопочитания и рабского холопства перед сильными мира сего и явного пренебрежения к простому люду, пришедшему на богомолье, ничем, по сути, не отличается от тех отношений социального неравенства, которые составляют основу светского общества.

Драма героя повести в том, что, проведя многие годы в монастыре, в скитском уединении, он вдруг увидел – что его трудный и мучительный подвиг нужен только князьям церкви как «средство привлечения посетителей и жертвователей к монастырю», что его святость ни в какой степени не способствует улучшению жизни людей, а ему самому она не дает внутреннего удовлетворения и покоя. Самый принцип отрешения человека от внешнего мира, отлучения от земных радостей

оказывается порочным и гибельным. Борьба отца Сергия с чувственными соблазнами так трудна и мучительна, требует такого огромного внимания к своей собственной личности, что в конце концов она становится препятствием к осуществлению долга перед людьми, мешает простому и непосредственному общению с ними.

Рисуя духовную драму отца Сергия, человека большой воли, незаурядного ума, страстного правдоискателя, гуманист Толстой разоблачает церковные учреждения с их искусственной формой общежития, тираническим насилием над живой человеческой личностью. Но, ниспровергая официальную религию, клерикализм, Толстой не приходит к отрицанию религии вообще. Он пытается утвердить как истинную религию – всепрощение, самопожертвование, непротивление злу насилием. Традиционным церковным формам писатель противопоставляет смиренный подвиг любовного служения людям в обыденной житейской обстановке. Уже в самом раннем упоминании о возникновении у писателя замысла «Отца Сергия» намечено это противопоставление. 3 февраля 1890 года он записывает в Дневнике, что рассказывал «историю жития и музыкальной учительницы» и тут же добавляет: «хорошо бы написать». [27] Несколько позднее он вносит в перечень задуманных сюжетов: «Рука сжигается пустынноиком и учительница музыки». [28]

В лице Пашеньки, простой учительницы музыки, которая «не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми», отец Сергий находит свой положительный идеал, ответ на мучившие его долгие годы нравственные и религиозные вопросы. Глядя на постаревшую, задавленную бедностью, но добрую и незлобивую женщину, он приходит к убеждению, что «Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже благодетельствованных мною для людей». [29]

Под влиянием этой встречи прославившийся своей святостью отец Сергий превращается в бездомного странника, смиренного проповедника любви и добрых дел. Здесь находит свое отражение одна из наиболее реакционных и вредных тенденций Толстого – возвеличение юродства, реакционная проповедь кротости и смирения перед тем «злом», против которого страстно восставал сам Толстой.

Толстой создал яркий и сильный образ человека, готового на борьбу и страдания во имя истины, ради всеобщего блага, но принявшего, вопреки своей мятежной натуре, толстовскую философию юродства и смирения. Горький, слышавший эту повесть в пересказе самого писателя, восторженно отозвался о ней, но при этом отметил двойственность и противоречивость авторского замысла. «Я слушал рассказ ошеломленный и красотой изложения, и простотой, и идеей, – писал Горький. – И смотрел на старика, как на водопад, как на стихийную творческую силу. Изумительно велик этот человек, и поражает он живучестью своего духа, так поражает, что думаешь – подобный ему невозможен. Но и жесток он! В одном месте рассказа, где он с холодной яростью бога повалил в грязь своего Сергия, предварительно измучив его, – я чуть не заревел от жалости». [30]

Горький был потрясен величием толстовского гения, его мастерством в изображении человеческого характера, но в то же время он не смог не почувствовать двойственности Толстого и известную его непоследовательность. Любя своего героя, сочувствуя его исканиям и стремлениям, Толстой, художник сложный и противоречивый, не мог привести его к такой истине, которая избавила бы его от ложных блужданий и падений, возвеличила его, укрепила бы его в борьбе за высокие идеалы.

Отвлеченно–моралистическая, религиозная философия Толстого, проявившаяся и в самой повести и в трактовке главного персонажа, его ложная концепция решения социальных и этических проблем ослабили реализм Толстого и образ отца Сергия.

Смысл повести «Отец Сергий» не только в личной драме князя Касатского. Драма Касатского, в изображении Толстого, порождена уродливым социальным строем, ложью собственнических отношений. За ложью, фальшью и грязью «святой» монастырской жизни стоит ложь, фальшь, грязь и несправедливость общественного строя, разделенного на паразитические господствующие классы и угнетаемые трудовые «низы». И Толстой в этой своей повести выступает обличителем, гневно и остро протестующим против такой общественной системы, которая препятствует гармоническому существованию человеческой индивидуальности.

II

Несравненно острее «Отца Сергия» по социальной направленности драма «И свет во тьме светит», представляющая большой автобиографический интерес. В ней с исключительной полнотой отразились переживания самого Толстого, его сложные семейные отношения, его личные искания и убеждения.

В драме критически обрисованы быт и психология представителей господствующего класса с их паразитическим и праздным образом жизни, с полным равнодушием к вопиющим фактам социального неравенства, убежденностью в разумности и справедливости общественного уклада, который предоставил только им право пользоваться всеми житейскими благами. Толстой создает ряд образов типичных представителей помещичье–дворянской среды: Марья Ивановна – жена Сарынцева, ограниченная женщина, целиком поглощенная интересами семьи, воспринимающая сложившиеся жизненные условия как абсолютно нормальные; без собственности и богатства она не мыслит себе счастья и благополучия своей семьи, своих детей. С ней полностью солидаризируются сестра Александра Ивановна и ее муж.

Поглощенные корыстными заботами о собственном благе, они не задумываются над судьбами нищего и замученного непосильным трудом простого народа. Толстой в своей драме обличает праздную, порочную,

пустую жизнь господ, жестокость и ничтожество блюстителей общественного порядка. Им он противопоставляет полную труда, страданий и лишений жизнь крестьян, вынужденных вести тяжелую борьбу за свое существование.

Реалистически–правдиво воспроизведенный писателем быт дворянско–помещичьей семьи делает душевную драму главного героя пьесы Николая Сарынцева, переживающего острый конфликт со своей средой, закономерной и оправданной.

Заглавие драмы «И свет во тьме светит» восходит к евангельскому тексту: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». [31] Дневниковые записи Толстого раскрывают смысл, который он вкладывал в эти слова.

«Средство служить людям одно: быть лучше, – отмечает Толстой в одной из записей. – Да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли отца вашего небесного» (15 февраля 1889 г.). [32] «Не стараться делать добро надо, а стараться быть добрым; не стараться светить надо, а стараться быть чистым» (13 марта 1890 г.). [33]

Таким образом, в своей пьесе Толстой стремился утвердить силу духовного сознания, противостоящего воздействию окружающей среды, силу примера совершенствующейся личности, стойко и твердо отказывающейся от участия в зле. Однако развитие действия драмы показывает обратное, и в этом ее глубокое общественное значение. Бессильным оказывается Сарынцев в борьбе за новые формы жизни в кругу своих домашних. Бессильным оказывается и его последователь Борис в своем столкновении с властями при отказе от воинской повинности. Его готовность на мученичество в сущности бесплодна, как это и было в действительности с наиболее мужественными последователями Толстого, поступавшими подобно Борису. Военная каста остается как надежная и верная опора самодержавия, а Бориса за его бунт наказывают заключением в дисциплинарный батальон. Среди солдат и жандармов проповедь Бориса естественно не только не встречает отклика, но кажется им наивной и глупой. Молодой священник Василий Никанорович, под влиянием Сарынцева снявший сан, вскоре раскаивается и возвращается к своим пастырским обязанностям. Невеста Бориса Люба, одно время сочувствовавшая ему, в конце концов становится невестой преуспевающего чиновника–карьериста.

С безбоязненной правдивостью, отказываясь от всякого самообмана, Толстой рисует, как простые люди иронически–недоверчиво относятся к исканиям Николая Ивановича. «Что ж, господа, известное дело. Всего хотят доходить», – говорит столяр, обучающий Николая Ивановича столярному ремеслу. Относительно его раздумий о праве владения именем он высказывается резко и прямо: «Стыдно, так раздайте», и в ответ на сбивчивые пояснения Николая Ивановича: «Хотел, да не удалось, жене передал», – добавляет: «Да вам и нельзя. Привыкли». [34]

Глубокая духовная усталость и подавленность слышатся в словах Николая Ивановича в финале четвертого действия – после неудавшейся

попытки ухода из семьи: «Василий Никанорович вернулся, Бориса я погубил, Люба выходит замуж. Неужели я заблуждаюсь, заблуждаюсь в том, что верю тебе? Нет. Отец, помоги мне». [35] Здесь нашел отражение тот замысел, о котором Толстой записал в Дневнике: «Думал к драме о жизни: отчаяние человека, увидавшего свет, вносящего этот свет в мрак жизни с надеждой, уверенность освещения этого мрака, и вдруг мрак еще темнее» (5 февраля 1890 г.). [36]

Но закончить всю пьесу на признании бессилия своего героя Толстой не считал возможным. В сохранившемся конспекте пятого действия драмы намечена мелодраматическая развязка: княгиня, мать Бориса, доведенная до отчаяния заключением сына в дисциплинарный батальон, стреляет в Николая Ивановича, считая его виновником гибели Бориса; Николай Иванович, умирая, прощает ее, говорит, что застрелился нечаянно сам. В целом эта пьеса с ее большим социальным содержанием показывает победу реализма художника над его утопическими и наивными теориями. Всем содержанием своей драмы Толстой вопреки своему замыслу утверждает невозможность путем личного самосовершенствования, добрым примером изменить существующие общественные отношения. И хотя проблема преобразования действительности, истинных «путей жизни» остается в пьесе нерешенной, объективно она утверждает необходимость решительной ломки всей социальной системы дворянско-буржуазного общества.

В этом томе публикуется переведенная Толстым с английского языка индийская сказка «Карма», привлекающая внимание писателя тем, что в ней хорошо разъясняется та истина, «что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием». [37] Но в сущности эта наивная, несколько примитивная история опровергает проповедываемую сказкой идеологию покорности и примирения. Она хорошо показывает мнимость и иллюзорность принципа, что «тот, кто делает больно другому, делает зло себе. Тот, кто помогает другому, помогает себе», – исправление жизни с помощью добрых дел. Ибо на практике эта философия оставляет нетронутой всю систему общественных и человеческих отношений, отношения господ и рабов. Следование идеям кармы не избавило земледельца от бедности и унижения, раба Магадугу – от задавленного и несправедливого существования, а только помогло богатому и властному ювелиру умножить свои богатства. Таким образом, сама сказка убедительно говорит о том, что одни «добрые дела» не спасают человечество от «зла».

Изложению своих философских и религиозных взглядов, опровержению доводов противников посвящены аллегорические притчи Толстого. Однако и эти притчи, и в особенности первая и последняя, своей абстрактностью, чисто умозрительным характером доказательств, не только не утверждают справедливости толстовских положений, но скорее, наоборот, свидетельствуют о глубоких внутренних противоречиях мировоззрения писателя.

Ленин указывал, что в произведениях Толстого поставлены «конкретные вопросы демократии и социализма», [38] наиболее острые и актуальные для его эпохи проблемы.

Демократические позиции Толстого особенно явно выступают в статье «Стыдно» (1895), направленной против применения к крестьянам телесных наказаний.

Толстой расценивает систему телесных наказаний для крестьян как пережиток, сохранившийся от времен крепостного права.

В статье «Стыдно» остро вскрывается чудовищность социального неравенства, при котором надругательство над человеческим достоинством крестьянина рассматривается как нормальное явление. Обличительный пафос статьи усиливается рядом включенных в нее эпизодов, изображающих с присущим Толстому мастерством избиение и истязание мужиков.

Статья проникнута величайшим уважением и сочувствием к крестьянству, которое Толстой характеризует как «лучшее сословие», величайшим негодованием против его узаконенного бесправия. С горьким сарказмом Толстой клеймит ложь и лицемерие либеральных попыток смягчить установленную систему жалкими ограничениями и компромиссами. В одном из вариантов статьи он со страстной убежденностью заявляет: «Нельзя почтительнейше просить о том, чтобы этого не было, можно только кричать на весь мир, вопить о том, что это не может продолжаться, что этого не должно быть и что преступны все те, которые участвуют в этом, и еще более те, которые могут прекратить это и не прекращают». [39]

Знаменательно, что все редакции статьи начинаются воспоминаниями о декабристах, которые в свое время отказались от применения телесных наказаний в подчиненных им воинских частях. Знаменательно, – как выражение того неизменного интереса и сочувствия Толстого к деятельности декабристов, которые проявились не только в трехкратном возвращении к замыслу романа «Декабристы», но и в целом ряде упоминаний о декабристах в устных высказываниях, Дневниках и художественных произведениях. В своей статье Толстой характеризует декабристов как «цвет» тогдашней молодежи, причем в одном из вариантов подчеркивает связь их идей с идеями французской революции: «Это были всё люди тогдашнего европейского образования, в котором звучали еще основные принципы большой французской революции и религиозного возбуждения, последовавшего за наполеоновскими войнами». [40]

Не случайна проставленная Толстым в одной из редакций статьи «Стыдно» дата: 14 декабря 1895 г. (день семидесятилетия со дня восстания). В одном из последних вариантов статья даже была озаглавлена «Декабристы и мы». Гуманному отношению дворянских революционеров к народу Толстой противопоставляет чудовищные и бесчеловечные деяния современных ему крепостников.

Гневным протестом против всего общественно–политического режима царской России звучит также статья «Бессмысленные мечтания», явившаяся откликом Толстого на позорную, открыто защищавшую самодержавие от малейшей попытки его ограничения речь только что вступившего на престол Николая II перед земскими деятелями, в самых почтительных выражениях заикнувшимися о праве «доводить до сведения царя» нужды народа. Сурово критикуя поведение царя, ответившего на это заявление грубым окриком, Толстой ставит вопрос о нелепости самого принципа наследственности и неограниченности царской власти, выступает непримиримым врагом самодержавия.

Решительно отрицая божественное происхождение царской власти, Толстой убежденно говорит о невозможности править людьми, «не зная, как живут люди и в чем их нужды».

Давая убийственную характеристику всего самодержавно–бюрократического аппарата, Толстой показывает, что самодержавная власть приводит к тому, что страной правит «стая жадных, проницательных, безнравственных чиновников», чуждая, далекая и глубоко враждебная народу.

Особенно резко звучит в одном из вариантов характеристика царствований Александра II и Александра III, их политика репрессий и гонений, их равнодушие к нуждам трудящихся. С нескрываемым сочувствием говорит Толстой о революционерах, которые, по его словам, хотели только больше свободы и нисколько не были «звероподобными людьми, ищущими убийств для убийств, и злодеями, которых надо беречься и которых надо истреблять», [41] какими их изображает реакционная правительственная пресса.

Это не свидетельствует, конечно, о признании Толстым правоты революционеров и их методов борьбы. Непротивленческие тенденции явно обнаруживаются в том, как он изображает столкновение старого рабочего с зазнавшимся барчуком: рабочему удастся поставить барчука на место полным достоинством, спокойным, сдержанным словом.

В одном из писем этого периода (24 ноября 1894 г.) Толстой писал: «Если бы новый царь спросил у меня, что бы я ему посоветовал сделать, я бы сказал ему: употребите свою неограниченную власть на уничтожение земельной собственности в России и введите систему единого налога [Генри Джорджа], а затем откажитесь от власти и дайте народу свободу управления». [42] В каких утопических, отвлеченных формах представлял себе Толстой эту «свободу управления», можно судить по многочисленным высказываниям, а также по незаконченному произведению этого периода, включенному в настоящий том, – «Сон молодого царя».

Статья «Бессмысленные мечтания» осталась неоконченной. При резкости ее тона вряд ли можно было рассчитывать на возможность напечатания и распространения в царской России. К попыткам организованного общественного выступления по поводу речи царя Толстой отнесся несочувственно. Причиной этого являлось, с одной стороны, вполне основательное недоверие Толстого к бесплодной либеральной шумихе, с другой – характерное для него отрицание организованной общественной

борьбы.

Неоконченной осталась и другая статья, «О студенческом движении» (1899), направленная против всей внутренней политики царского правительства. Но в сохранившемся наброске с большой силой звучит негодующий протест против правительственных репрессий, его сочувствие оппозиционной молодежи, не соглашавшейся пополнить собой ряды правительственных чиновников и бюрократии.

IV

Статьи Толстого «К итальянцам» (1895) и «Две войны» (1898), первая из которых связана с поражением итальянцев в войне с Абиссинией, вторая – с событиями американо-испанской войны за остров Кубу, содержат резкое выступление против милитаризма и колониального порабощения. Война Италии с Абиссинией и Америки с Испанией за обладание Кубой знаменовали собой начало новой кровавой эры, борьбы империалистов за передел мира. Толстой с присущей ему проникательностью разгадал грабительский характер разыгравшихся на далеких от него материках событий. Он со всей страстностью обрушился на зачинщиков этих кровопролитных сражений, разоблачая их глубоко враждебный интересам и потребностям народа характер. Своими выступлениями Толстой срывал маску с современных ему буржуазно-демократических государств, показывал, что за либеральной болтовней о мире скрывается лихорадочная подготовка новых сражений, новых бойнь.

Толстой справедливо утверждает, что войны нужны правительствам и правящим классам, а не мирному трудящемуся народу. Он высказывает глубокое убеждение, что дело мира находится в руках самих народов: «Ведь придет же время, и очень скоро, когда после ужасных бедствий и кровопролитий, изнуренные, искалеченные, измученные народы скажут своим правителям: да убирайтесь вы к дьяволу или к богу, к тому, от кого вы пришли, и сами наряжайтесь в свои дурацкие мундиры, деритесь, взрывайте друг друга, как хотите, и делите на карте Европу и Азию, Африку и Америку, но оставьте нас, тех, которые работали на этой земле и кормили вас, в покое.... Нам важно то, чтобы беспрепятственно пользоваться плодами своих трудов; еще важнее обмениваться плодами этих трудов с дружественными, того же самого желающими, другими народами» («К итальянцам») [43].

Он разоблачает преступления, совершаемые слывущей самой передовой и демократической страной – Америкой. «Ужаснее всего то, – пишет Толстой, – что главные участники в этой войне – это люди той самой молодой передовой нации, которая справедливо гордилась своей разумностью и свободой от кровавых инстинктов европейских народов. И что же? Никогда ни один народ не доходил, кажется, до такого грубого зверства и до такого одурения, до которого дошла теперь масса американского народа» («Две войны», вариант № 2). [44]

Однако незнание подлинных путей преобразования социальной действительности приводит Толстого к тому, что системе капиталистического угнетения, империалистических войн, грозной силе пушек и непрестанно развивающейся военной технике он противопоставляет мужество и стойкость осознавшей требования «христианской любви» личности. Поэтому в отказе от военной службы, в пассивном «неучастии в зле», личном самоусовершенствовании он видит единственное средство уничтожения армии, военной клики и постоянно висящей над человечеством угрозы кровопролитных войн. Выступления Толстого против разбойничьих империалистических войн, направленных на укрепление и упрочение основ буржуазного общества, и сегодня близки передовым людям, борющимся за мир.

Идеалистические основы мировоззрения Толстого и связанные с ними противоречия особенно явственно выступают в предисловии к статье Карпентера «Современная наука».

Критикуя буржуазную науку за ее классовую тенденциозность, Толстой справедливо обвиняет эту науку в том, что она занимается, «с одной стороны, оправданием существующего порядка, с другой – игрушками», «разрешением вопросов праздного любопытства». Утверждая, что все завоевания науки и техники в буржуазном обществе «прилагаются только к губительным для народа фабрикам, к орудиям истребления людей, к увеличению роскоши, разврата», ведут к ухудшению положения трудового люда, Толстой абсолютно прав. Для него несомненно, что в результате неправильно устроенного общественного порядка, при котором власть принадлежит небольшой кучке, неизбежно превращение науки в средство угнетения и порабощения народа.

В своей статье Толстой приходит к единственно правильному и логическому выводу, что необходимо прежде всего изменить это «дурное устройство». Но в соответствии со своим утопическим, идеалистическим учением полагает, что все формы жизни могут быть изменены только путем изменения сознания людей.

В своей критике современного состояния наук Толстой исходит из требований «разумного рабочего человека», который «ждет от науки, что она разрешит для него те вопросы, от которых зависит благо его и всех людей», то есть «вопросы» религиозно-морального порядка: «как надо жить, как обходиться с семейными, как с ближними, как с иноплемениками, как бороться с своими страстями, во что надо, во что не надо верить». Так Толстой с идеалистических позиций ошибочно определяет круг вопросов, от решения которых, по его мнению, зависит благо рабочего человека, порабощенного и эксплуатируемого, задавленного нищетой и непосильным трудом, страдающего от бесправия и неравенства.

Поэтому от науки он требует прежде всего разрешения этических и религиозных проблем: «Наша наука для того, чтобы сделаться наукой и действительно быть полезной.... должна.... вернуться к тому единственному, разумному и плодотворному пониманию науки, по которому предмет ее есть изучение того, как должны жить люди» [45].

В отличие от Карпентера Толстой подвергает серьезной критике буржуазную науку за ее оторванность от народа и его нужд, за ее классовый характер. Не видя различия между буржуазной социологией и марксизмом, Толстой, однако, прав, утверждая, что для буржуазной социологии характерно стремление оправдать существование классов и капиталистическую систему. Толстой ошибался, подвергая сомнению полезность и достоверность физики, химии и других точных наук, но глубоко справедлива его критика общества, в котором все достижения науки являются привилегией небольшой кучки людей.

В своих лекциях, прочитанных в 1906 году на Капри, Горький остановился на ошибочных идеалистических взглядах Карпентера и Толстого, выраженных Толстым в предисловии к книге английского философа. Цитируя утверждение Карпентера, что современная наука оставляет «все самые важные вопросы без всякого разрешения», он говорит: «Ничего особенно оригинального в этих словах нет, повторялись они тысячу раз, повторяются и в наши дни, их источник – чувство протеста против тех обязанностей, которые налагает на человека современное развитие знаний.

Каков смысл всей суммы наших знаний? Они говорят нам: главный враг человека – природа, а потому люди, существа разумные, должны соединить всю силу своего разума во единую целостную энергию и противопоставить ее стихиям, в целях победы над ними.

Далее – знание истории учит нас, что при современных общественных отношениях люди не могут объединиться для дружной борьбы с природой, что классовая рознь создает ряд противоречий, что эти противоречия, развиваясь при сознательном нашем вмешательстве в их игру, пожрут, наконец, сами себя, и человек освободится от экономического и политического рабства.

С этой точки зрения все, а равно и рост знаний наших – развитие науки, как орудия нашей самозащиты, – все стоит в зависимости от общественно-экономических отношений, кои и должны быть изменены прежде всего.

Так учит очевидность, так говорит весь нам известный опыт, и, говоря так, он обязывает нас к активному вмешательству во все дела жизни» [46].

Но такому активному вмешательству в жизнь глубоко враждебна вся проповедь Толстого.

Неизмеримо высоко оценивая Толстого как писателя-реалиста и обличителя, Горький вслед за Лениным всегда подчеркивал глубокий вред его философских и религиозно-нравственных идей и подвергал уничтожающей критике идеалистические основы миропонимания Толстого.

«Мы не должны останавливаться на выводах Толстого, – писал Горький, – на его грубо-тенденциозной проповеди пассивизма; мы знаем, что эта проповедь в конечных выводах своих глубоко реакционна, знаем, что она была способна причинить вред и причинила даже – все это так! Но – за всем этим остаются широко написанные, живые и яркие картины

русской жизни во всех ее слоях, остаются глубоко взятые, изумительно просто и правдиво рассказанные человеческие жизни, душевные переживания. И эта работа имеет цену неоспоримую, она – колоссальна, она есть нечто, чем мы имеем право гордиться, что может научить нас уважать человека, понимать жизнь и безбоязненно думать о всех вопросах» [47].

Произведения, публикуемые в этом томе, отчетливо показывают и силу и глубину критики Толстого самодержавной России и ложность и вред его реакционно-утопического учения.

Отвергая его реакционную теорию, его религиозно-нравственное учение, мы с глубоким интересом относимся ко всем произведениям большого художника-гуманиста, в которых он дает глубокую и верную критику собственнического мира, обличает господствующие классы, защищает идеал гармонического и свободного развития человеческой личности.

А. Озерова

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ТРИДЦАТЬ ПЕРВОМУ ТОМУ.

Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии, но с сохранением особенностей правописания Толстого.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты), соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется.

Пунктуация автора воспроизводится в точности, за исключением тех случаев, когда она противоречит общепринятым нормам.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, но это всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д. неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Многоточия воспроизводятся так, как они даны автором.

Абзацы редактора делаются с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение * как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означает, что печатается впервые.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Фототипия скульптуры П. Трубецкого «Толстой верхом» между стр. IV и V.

Автотипия последней страницы первой законченной редакции повести «Отец Сергей» между стр. 46 и 47.

Примечания

1

[– Лиза, взгляни направо, это он,]

2

[– Где, где? Он не так уж красив.]

3

[По усмотрению.]

4

[странников,]

5

[– Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно богу.]

6

[– Что он сказал? Он не отвечает.]

7

[– Он сказал, что он слуга божий.]

8

[– Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь?]

9

[– Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем;]

10

[вам, старичок,]

11

Зачеркнуто: Но гордость смущала его.

12

Зачеркнуто: но он гордился тем, что он пожертво[вал]

13

Исправлено из: идите, идите,

14

Зачеркнуто: одна старушка помещица

15

П. И. Бирюков, «Биография Льва Николаевича Толстого», т. III, М. 1922, стр. 135.

16

П. Буланже, «Отец Сергей». Примечания к «Посмертным художественным произведениям» Л. Н. Толстого под редакцией В. Черткова, т. II, М. 1911, стр. 233–236.

17

Весьма показательно, что на переписку рукописи «Дьявола» (по размерам не меньшую, чем «Отец Сергей») Черткову потребовалось всего две недели (он приступил к ней в начале февраля 1890 г. и уже выслал ее Толстому 20 февраля).

18

См. т. 51, стр. 23–25.

19

Имеется в виду «Царство божие внутри вас».

20

В Записной книжке № 2 под 4 августа: «К отцу Сергию. Она говорит какую-то нелепость – кто она. И он верит, потому что она красота. Она ушла, он не видит подвига в себе, а только стыд, что он

поддался. После она идет в монастырь» (т. 51, стр.143)

21

Аналогичная запись в Записной книжке № 2 под 10 августа 1890 г. (т. 51, стр. 144).

22

Зачеркнуто: бороды его.

23

В Записной книжке № 2 под 18 августа 1890 г.: «К отцу Сергию. Адвокат хлюпает носом от холода» (т. 51, стр. 145).

24

Л. Н. Толстой, «Посмертные художественные произведения», под редакцией В. Г. Черткова, т. II, издание «Свободного слова», В. и А. Чертковых, Berlin, J. Ladyschnikow Verlag g. m. b. H., 1912, стр. 7–60.

25

В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 323.

26

См. наст. том, стр. 11.

27

Т. 51, стр. 16.

28

Там же, стр. 125.

29

См. наст. том, стр. 44.

30

«М. Горький. Материалы и исследования», т. II, Издательство Академии наук, 1936, стр. 216.

31

Возможно, как указывает В. И. Срезневский в комментариях к тексту пьесы в издании 1917 г., что заглавие это стоит в связи с заглавием эскиза Н. Блинова «Свет и во тьме светит», написанного в ответ на драму Толстого «Власть тьмы». Но возможно и то, что оба заглавия возникли самостоятельно на основе одного источника.

32

Т. 50, стр. 37.

33

Т. 51, стр. 28.

34

См. наст. том, стр. 155–156.

35

См. там же, стр. 183.

36

Т. 51, стр. 17.

37

См. наст. том, стр. 47.

38

В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 297.

39

См. наст. том, стр. 248.

40

См. наст. том, стр. 244.

41

См. наст. том, стр. 252.

42

Н. Н. Гусев, *Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого*, 1936, стр. 508.

43

См. наст. том, стр. 195.

44

См. наст. том, стр. 250.

45

См. наст. том, стр. 89, 93–95.

46

М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, стр. 284.

47

М. Горький, История русской литературы, Гослитиздат, 1939, стр. 295–296.